

**Маргарита СИНКЕВИЧ:** Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за счастливое время, проведенное наедине с вашими книгами, а также за то, что согласились встретиться. Одна из моих любимых повестей – “На долгую память”. Расскажите об истории создания этого произведения.

**Виктор ЛИХОНОСОВ:** Меня удивляет, что “На долгую память” до сих пор упоминается как что-то значительное. Последние годы один раз в месяц я хожу в Пушкинскую библиотеку, куда впервые попал первокурсником в 1956 году. Тогда я искал статьи о Есенине, которого очень любил. Я взял какую-то старинную энциклопедию 20-х годов и увидел огромную цитату Бухарина – жуткую, уничтожающую. В этой же библиотеке я прочитал том дневников Пришвина, “На чужбине” Льва Дмитриевича Любимова.

Так вот. Не так давно я взял номер журнала “Знамя” с “Рабочими тетрадями” Твардовского за 68-й год. Он там пишет: встал в четыре с половиной часа утра и стал читать Лихоносова (то есть Твардовский читал повесть, уже опубликованную в “Новом мире” в сокращённом варианте, назвали её “На улице Широкой”). Меня удивил этот отзыв! “Стал читать Лихоносова и до конца не мог оторваться! Какой молодец! С любовью, с нежностью и болью пишет ту низовую окраинную жизнь, жизнь “с коровы”, с базара, с огорода, с пенсий, жизнь, которую не принято ни фотографировать, ни “отражать” в очерках, жизнь без “роли парторганизации”, без всего такого – саму по себе, со всеми отчаянными хлопотами, напряжением, муками, безысходностью – послевоенную жизнь миллионов”. Спустя 35 лет обнародовали его мнение, и я читал в пустом зале библиотеки притихши. За что так перехвалил Александр Трифонович?

Когда я бываю в Сибири, на родной улице Озёрной, от которой ничего уже не осталось (там когда-то в черемухе вились майские жуки, теперь нет ни травки, ни домов с палисадниками), то думаю, как средненько я обо всём написал. Как много трогательного, существенного, истинно народного я не сумел выразить так, как это делали писатели-почвенники XIX века, в том числе и Александр Иванович Эртель, и Василий Иванович Белов уже позднее, в XX веке. Я сожалею, что недостаточно хорошо (в силу, может быть, неопытности, скорее всего, несобранности) описал эту дорогую мне послевоенную народную жизнь – время такой простоты, такой горечи и веры в скорое улучшение.

Это был другой народ: более терпеливый, непритязательный, чему удивляются сейчас эти наши несчастные либералы. Они просто не понимают России.

Когда я уехал из Новосибирска на Кубань (в землю совершенно другую, сейчас говорят, с другим менталитетом), то затосковал. Я помнил и любил свою матушку, всех соседей. Уличные мои герои, конечно, подлинные. Просто они недостаточно полно, по-толстовски глубоко изображены. Они гораздо интереснее и полноводнее в своём характере и в своей народной идее.

И сейчас мне хотелось бы дополнить повесть. Но я не посмею этого сделать... Это надо было сделать так, как поступил Астафьев со своим "Последним поклоном" вскоре после первой публикации: подправить, дописать. Но я не вернусь к этим образам. Я сейчас пишу "Одинокие вечера в Пересыпи". Первую часть я опубликовал в 98-м году в "Нашем современнике". Потом долго не писал, всё ждал чего-то, ждал, томился, перебирал в уме дни, месяцы с матерью, задерживал расставание, и нынче заканчиваю. В "Литературной газете" я напечатал главу "Плач у своего дома". О том, как я в третьем часу ночи пришёл на свою улицу к дому, в котором вырос. Жизнь прошла...

К старости тебе не хватает тех, с кем ты жил, не хватает родных, прежде всего тех, с кем ты жил в детстве. Пока ты молодой, ветренный, впечатлительный, романтичный, мечтающий, желающий вырваться из своего домашнего круга, ты стараешься оторваться от тех, с кем провёл всё своё раннее время. Они даже как-то тебе вроде надоели уже. Тебе хочется видеть других, каких-то изумительных людей, которыми многие, конечно, не являются.

Я, помню, ждал писем от матери. Иногда она передавала весточки от крёстной. И читал я это как-то безго. Тут вот Юра Назаров прислал письмо из Щукинского театрального училища: театр, кино, умные лекции, Раджа Капура видел. А нынче все актёры мне скучны, дороже всего строки писем от матери. Я считаю (а так в жизни никогда не бывает), жить надо в родном, родственном по детскому твоему обитанию кругу. Ничего взамен равного ты не найдёшь, ничего... А что-то корневое, близкое нечаянно по молодости растерял, легко расстался с этим, увидел другое, неплохое, конечно, полезное для жизни, даже обогатившее тебя, но... но... Всё-таки самое близкое было там: крёстная, крёстный, мать, соседи... Я думаю, из этого чувства сожаления, из этих воспоминаний и выросла повесть "На долгую память".

**М. С.:** Духовная сила многих героев Ваших произведений вселяет гордость за наш народ, порождает желание хоть сколько-нибудь приблизиться к этой нравственной высоте, а иногда вызывает и стыд за собственную немощь. Особенно актуально звучат строки из романа "Наш маленький Париж": "Кому понять тоску старого казака, когда он видит на месте войскового храма гнилые чёрные доски?" Если бы сегодня России пришлось пройти испытания, подобные революции, коллективизации, голоду 30-х годов, Великой Отечественной войне, справились бы?

**В. Л.:** События 1991-1993-го годов показали, что в озлобленности своей, в ненависти друг к другу народ не меняется. Как и в семнадцатом году, народ озлобили, натравили друг на друга. Русский народ потерял очень много. Прежде всего, он потерял изумительно наивную, простодушную веру в царя, в Бога, в традиционный уклад жизни. Есть и то, что просто недоказуемо, о чём мне нельзя как-то убедительно сказать. Совершенно ясно, что люди могут быть разными: хорошими и плохими, великими и посредственными. Но какими были, допустим, донские казаки, которых застал Шолохов, когда работал над "Тихим Доном"? Какими были кубанцы до революции? Какими были офицеры? Какими пребывали казаки, которые служили государю, Отечеству? Попробуйте, ответьте на эти вопросы. О домовитости, о семьях рассказывала мне Гликерия Прокофьевна Таран, казачка из станицы Пашковской.

Черты жизни были иными. Даже в житейской суете, хозяйственной торопливости люди были степеннее, достойнее. Над всем был Господь. Утром встали, пошли в церковь, помолились, пришли, пообедали, перед обедом опять помолились. А сейчас и в русском кругу, среди тех, кто хочет верить в Россию, хочет, чтобы она вернулась, наши милые ребята-писатели не соблюдают этого. Они не знают, что такое помолиться. Когда В. Крупин молится, над ним смеются. Вот что изменилось. Когда молились государь с семьёй, великие князья, они становились на колени. Представьте себе нынешних губернаторов, падающих на колени... Разве в Пасхальное мгновение поцелуется губернатор со своим подчинённым? Начальники в церкви чувствуют себя всякий миг как-то неловко. Как будто они вынужденно уступают Богу в чём-то.

Изменилось и многое другое. Изменились лица. Посмотрите на старые фотографии. Изменилось чувство к своей земле. Мне трудно об этом говорить. Но я всё чувствую верно.

**М. С.:** По мнению Валентина Распутина, главный герой Вашего романа “Наш маленький Париж” – Память, по мнению Владимира Бондаренко – Любовь к людям. Как вы можете определить своего главного героя?

**В. Л.:** Они слишком обобщают. Главных героев я просто люблю и жаляю. Я люблю Толстопята, Шкуропатскую, Попсуйшапку. Я потому и выбрал их и, представьте себе, не расстаюсь с ними тридцать лет спустя. Попсуйшапку (в романе) я встретил в его древнюю пору – ему было за 90. Он очаровал меня Екатеринодаром, этакой далёкой сказкой, чудесным призраком утерянного бытия.

После 1956 года русские казаки вернулись на Родину. Когда один из них принёс стихи, редактор журнала (знаменитый кубанский стихоплёт) провокационно, почти как работник КГБ, спросил: “Что? “Беленькое” нам принесли?” Казаки понимали, куда приехали. Они были совершенно не похожи на новых, незнакомых им жителей города. Меня, помню, поражали киоскёры: как они подавали газету, щепетильно клали сдачу, протяжно отвечали на вопросы. Казалось, что они откуда-то спустились к нам. Ну да! Они вернулись домой из Парижа, вернулись туда, где никого уже из заветных екатеринодарцев не было. Жили люди не лучше и, может, не хуже, но... другие. Старозаветная Кубань исчезла. О повседневной старой императорской России мало кто имел чёткое представление. В печати, в кино старая, великая, чудная Россия, где была понятия о добре, о честности, о порядочности, о благородстве, портилась всеми средствами.

Как-то мы поехали с Георгием Георгиевичем Степановым, который написал роман “Закат в крови” (роман, конечно, такой надёрганный раскавыченными ситуациями и чужими абзацами) в станицу Северскую, узнали, что там живёт старик, вернувшийся через полвека из Парижа, году в 72–73-м. Фока Савельевич Гетало, казак станицы Васюринской, был в Белой армии, жена осталась здесь, она отказалась от него. Он вернулся, нашёл её, она не захотела его видеть. И мы заявили к нему. Первое, что меня поразило, – его стол. Не знаю, это французский порядок или старомодный русский порядок, или это порядок человека, который должен был выживать в чужих условиях. И поразили его руки, ногти, лицо.

Совершенно почему-то холёная, белая-белая кожа. Это кубанец, который пережил не меньше, чем наши здесь. Всё было: гражданская война, голод, выживание в Париже и прочие тяжёлые условия, гитлеровская оккупация Франции, экономические трудности... И вот поздний казак перед нами, такой изумительный Фока Савельевич Гетало. Такая старая Россия. Залюбуешься им! Речь какая-то мягкая. Хочется пожить с ним рядом. Таким же был герой моего романа Толстопят. Вот почему я и написал роман. Я просто любил этих, как говорил Герцен, “благородных прошедших”. Я любил их руки, я любил их речь, интонацию.

В начале 60-х Юрий Павлович Казаков, великий писатель, мой учитель и друг, привёз из Парижа магнитофонные “колеса” с записями разговоров с писателями русского изгнания – Борисом Константиновичем Зайцевым и Георгием Викторовичем Адамовичем. Боже мой, как они говорили! Эта старая русская “допотопная” речь... Другая, напевная интонация. Особенно у Адамовича: петербургская. А мы уже не говорим, а гавкаем.

Изменилась не только Россия, весь мир изменился, даже внешне. В Англии был благородного вида Гарольд Макмиллан. И после этого какой-то Тони Блэр. В Америке был Ричард Никсон, и вспомните плейбоя Клинтона. Очевидно, постепенно исчезала в мире порода. И остатки этой породы очаровывают. Когда я смотрел прощание с Чавесом, я влюбился в Мадурю. Как он прощался! Какой он красивый! Как он говорил! А он всего-навсего был шофёром, не с высшим образованием, не колумбийский университет заканчивал. Всё это имеет значение для народа. Дело в том, что писатель, вообще человек иногда восторгается не тем, чем надо. Но светлая душа всё равно грязью не восторгается.

Писателю полезна влюблённость. Без этого русский человек, русский писатель не может создавать вдохновенные поэтические произведения. Солженицын проложил тропу такой костяной ненависти. На самом деле, нужно на-

начинать с восторга. Влюблённость, очарование, сожаление побудили меня написать роман “Наш маленький Париж”.

**М. С.:** Юрий Селезнёв писал о повестях “Люблю тебя светло” и “Осень в Тамани”: “Перед нами встаёт Отечество в органическом единстве прошлого и настоящего”. Тема единства прошлого и настоящего — одна из ведущих и в романе “Наш маленький Париж”: каждое слово, каждый поступок, каждое событие герои оценивают в контексте родовой памяти, в контексте истории России. Слово “деды”, так часто звучащее на страницах произведения, концентрирует в себе эти смыслы. Но потом — пропасть. Почти у всех главных героев нет детей, нет прямых потомков, с родственниками они связи практически не поддерживают. Все их мысли обращены к прошлому, к собственным переживаниям. Получается, они-то теми самыми “дедами” ни для кого не стали?

**В. Л.:** Я не знаю, думал ли я об этом. Просто я чувствовал что-то. Я всё время горевал, когда писал, когда ходил по людям. Горевал, что исчезли целые роды кубанские, не мелькнул фамилии Толстопят, Поночёвный, Рашпиль, Свидин и др.

Когда я работал над романом, уже ничего не было. Какая-то, может быть, фамилия блеснёт, и та уже миллион раз переродилась. Как это случилось? Одни эмигрировали и умерли за границей. Или здесь окончили свою жизнь — в голодовку, были сосланы или убиты.

В Тамани иду по кладбищу, читаю: Лисевички (однофамильцы жили и в Старотиторской, в Ахтанизовской, в Брюховецкой). Род староказачий, офицерский. Всё искоренено. Потому, когда казачество стало возрождаться, то возрождаться оказалось не на чем. Даже милые чудесные казаки показались плебеями, людьми, потерявшими или не осознающими своих корней. И поэтому они начали с поминания реликтовых героев, воевавших с горцами. Это всё хорошо: Кавказская война и прочее. Но надо было начинать с того, что ушли в 1920 году и не вернулись кровные казаки, бившиеся за Кубань не хуже прежних.

Атаману надо было позаботиться об этом. Ощущение русской родовитости — великое благо. В Калифорнии ко мне подошёл Тизенгаузен. Я аж встрепенулся! Тизенгаузены так связаны с Пушкиным, с дочкой Кутузова.

Сейчас, когда я пишу про матушку (она у меня из Воронежской губернии, Россошанского уезда Бутурлиновской волости, села Елизаветино), то ради настроения лягу и почитаю в “Биографическом словаре” Половцова, в воспоминаниях потомка Бутурлиных, как любимец царицы Елизаветы граф Александр Бутурлин перевёз хохлов из Чернигова или из Черкасс в Воронежскую губернию, и основалась Бутурлиновка. И в 14 верстах от неё завелись все мои деды и бабушки, а потом родилась и моя матушка Татьяна Андреевна. Эта прославленная фамилия покоится лишь в литературе. Целое кружево старинных русских родов, которые должны были бы согреть, по крайней мере, душу писателя, распустила революция. И живём без родовитого слоя — огромного накопленного веками пласта родовитости самой России! А родовитость крестьянская, купеческая — всё кануло. Назаров мне говорит: “Что ты все плачешь по дворянам, ты же крестьянин?” Вырождение меня печалит. Посмотрите на Никиту Михалкова. Казалось бы, он и должен был снимать фильмы о русской породе, чтобы мы с вами вздыхали о вековой России. Зачем нам “Сибирский цирюльник”?

**М. С.:** В советское время поклонники “заваливали” Вас письмами. Чувствуете ли Вы сегодня связь со своими читателями?

**В. Л.:** Кто вам сказал, что меня “заваливали” письмами? Такого никогда не было. Просто у меня есть читатели. Я давно их знаю. Недавно мне написала одна поклонница, что до сих пор держит мою книгу на полке, периодически её снимает... Это очень важно. Таких читателей немного. Их не может быть миллионы, как у Анатолия Рыбакова после “Детей Арбата”. Его читатели побыли и ушли. Они уже забыли, что он им когда-то нравился.

Смысл самого существования литературы — в накоплении любимых читателей, которые все вместе поддерживают своим восторгом культуру слова, значимость литературы для души народной. Как я любил “Тихий Дон” Шолохова! Всё с Шолохова и началось. Как мы с Назаровым разговаривали о Шолохове — это только мы с ним знаем. Назаров ездил в Вёшенскую, а потом и я. Я был одарён признанием читателей, которые (так писали мне) меня перечитывали. Мне достаточно. Если кто-то в армии носил мою книжку

Ось в Тамани” под пряжкой, спасибо ему. Засыпать с книгой, класть под подушку — такое влияние на читателя полезно. Но коварное соблазнение души привнесено в литературу в поздние советские годы. Задача была не воодушевить на доброе, а разложить.

**М. С.:** За свою жизнь вы общались с такими разными и выдающимися главными редакторами, как Александр Твардовский, Сергей Викулов, Станислав Куняев, Леонид Бородин. Кто из названных главных редакторов был наиболее созвучен вам как человек и профессионал?

**В. Л.:** Твардовский был слишком высок и далёк для меня. Я всё время вспоминаю себя студентом провинциального пединститута, караулившим раз в неделю “Литературную газету” и “Литературу и жизнь”. Как я читал “Литературную газету” и “Литературу и жизнь”! Там какие-то редкие люди, они пишут... А кто я? Это смущение осталось во мне до сих пор. Возле Пушкинской библиотеки на стенде крепилась свежая “Литатурка”, иногда “Правда”. Прохожу мимо... Что там такое? “За далью — даль”. Новые главы Твардовского. Или В. Солоухин, статья об убийстве в Подмосковье поэта Дмитрия Кедрина. Его же “Письма из русского музея” в журнале. Даже художника Илью Глазунова читал и что-то выписывал — “Дорога к другу” в журнале “Молодая гвардия”. Какие поднебесные таланты! А я? Студент, будущий сельский учитель. Но чуток я был ко всему остро или таинственно русскому.

И вдруг я взлетаю в Москву. Вроде только что читал в “Литературе и жизни” статьи Сергея Антонова о мастерстве писателя, а он уже рядом, за столиком в ЦДЛ. Я до сих пор удивляюсь: как это Господь меня пожалел?! Или... Только что вышла моя вторая книжка в Москве с предисловием Юрия Казакова — “Голоса в тишине”. Еду из Новосибирска, захожу в ЦДЛ, в “предбаннике” сидит Казаков. “Ну, старичок! Ты скоро будешь, старик, знаменитее меня. Видел подвал в “Комсомолке”?” А Сергей Петрович Антонов, приглашая сестрьядышком, говорит мне: “Спасибо, прочёл “Женские слёзы”. Вы прямо как Толстой пишете, поворачиваете характеры”. Ну, хоть стой, хоть падай! Уже думаешь: как бы дальше-то не опозориться. Уже вроде и писать не о чем. А похвалой душа поражена насквозь!

Или приезжаю в Москву в январе 1965 года, захожу в “Новый мир”, где я уже печатался. Спускается сверху заместитель Твардовского, автор учебника по литературе, Александр Григорьевич Дементьев. Я говорю: “Александра Трифионовича увидеть можно?” Он бурчит: “Ну, а чего ж... У нас же не контора. Конечно, поднимайтесь”. Я вскочил по ступенькам на второй этаж. Из кабинета выходит Борис Германович Закс, второй зам, он потом умер в Германии. За ним Твардовский, уже одетый. Я назвался. А мне тёща купила темно-зелёное пальто, китайское, непомерно большое. Да, представляюсь. И Твардовский разворачивается и приглашает войти в кабинет. Скидывает своё пальто на диван и по-свойски советует: “Снимайте и бросайте на моё”. Сразу стало так легко и хорошо! Второй раз я его видел на съезде писателей в Колонном зале Дома Союзов в 1970 году. Вот и всё общение. Я иногда думаю: “Да как это я напечатался в “Новом мире”?! Господь пожалел анапского учителя”...

Когда “Новый мир” (Ефим Дорosh) отверг “Люблю тебя светло”, я ушёл к Викулову в “Наш современник”. Я, дурак, говорю: “Сергей Васильевич, ну, что-то интеллигентности в вашем журнале мало. Про интеллигенцию надо писать”. Для него это — нож в сердце (смеётся. — **М. С.**). И вот он не напечатал “Когда же мы встретимся”, как раз про интеллигенцию. Когда я получил Государственную премию за “Наш маленький Париж”, Викулов, который был в комиссии, меня поздравил. Он, наверное, пожалел, что не напечатал...

Станислав Куняев добрый, весь раскрытый человек. С ним легко. Мы вместе летали к Шукшину на Алтай. В Америке с ним был. Как-то мне с ним необычайно тепло и просто. Про него пишут не то. Он совершенно незлобный человек. Он пишет искренне. Я очень огорчён, что его именем хотят запугать. Да, он жёсткий в отстаивании своих позиций...

“Наш современник” — не хуже, чем при Викулове. Время, конечно, другое. Сегодня нет в журнале той прозы, которая писалась при Викулове. Но её нет и в литературном обиходе. А направление, идейная глубина сохраняются железно: русскость в самом хорошем смысле слова, верность своей почве. Народ это понимает. Народ столько лет держит журнал на своих плечах помощью и подпиской. Сорос ему не помогал. А среди журналов тираж самый большой.

**М. С.:** Виктор Иванович, одну из лучших статей о Вашем творчестве на-

Юрий Селезнёв. Статья с названием, на мой взгляд, очень тонко и точно отразившим особенность вашего творчества, вашего мироощущения — “В одно сердце с людьми”. И Вы ему ответили добрым словом, но уже, к сожалению, посмертным. Расскажите о Ю. Селезнёве: что это был за человек, что вас связывало?

**В. Л.:** Очень хорошие статьи писал обо мне Олег Михайлов. Он очень тонкий человек, чувствовал художество очень хорошо. У Олега есть такие строки, абзацы, которые звучат просто как музыка, как проза. Хотя некоторые вещи, некоторые строки я бы не то, что оспорил, я бы вычеркнул, поскольку чувствуется легкомыслие человека, который был молод. Юра писал угрюмо-серьёзно. Он был серьёзнее, трудолюбивее, основательнее, нежели знакомые мне московские гении, которые допускали тогда такую лёгкость в оценке произведений, когда думали одно, а писали другое. Юра этого почти не допускал. Он был обуреваем страстью к литературе (не без тщеславия, может быть, порой, но без жажды самоутверждения). Его упорство превращалось, в конце концов, в плодотворное служение литературе.

Юра очень быстро рос, очень много работал. Он добровольно сгорал, хотя любил жизнь так же, как мои чудесные приятели-москвичи. Но Юра был гораздо жертвеннее. Эта жертвенность и привела его к ранней гибели. И мы часто думали с Сашей Федорченко, его кубанским другом: вот грянули после смерти Селезнёва такие исторические события, и он, если бы не погиб где-нибудь под Останкино или у “Белого дома”, играл бы одну из самых значительных ролей в патриотическом русском движении. Может быть, возглавил что-то общественное, какое-то издание, журнал... Такова была, очевидно, его природная миссия. Для этого, наверно, родился.

Селезнёв был настойчив, редкосто последователен в своём призвании, которое он почувствовал ещё в студенческие годы. Юра беспрерывно читал. Он старался везде успевать. Москва его немножко затянула в нехорошую сторону, в суету какую-то, но всё это постепенно преодолелось. И его смерть — потеря огромная! Можно сказать, что это потеря, равная потере Николая Рубцова, Василия Шукшина... Они бы развивались постоянно, росли, не останавливаясь на достигнутом... Что бы написал Шукшин?! Какой это был светлый, нежный, грустный гений! А Рубцов... Селезнёв в эти годы был весь в борьбе. Он написал бы, наверно, о Лермонтове.

Уже после интервью о смерти Юрия Селезнёва как о величайшей потере для России и русских говорили в разных контекстах критики, писатели, историки. Так, например, в газете “Завтра” один из лучших историков современности Андрей Фурсов написал: “При этом почвенников очень сильно давил КГБ. Те, кого Андропов называл русистами, получали значительно более длительные сроки, чем диссиденты, которых частенько просто гладили по голове. И целый ряд людей, которые могли бы стать лидерами патриотического поколения в Советском Союзе, странным образом погибали — это и Василий Шукшин, и Юрий Селезнёв, и Константин Васильев” (Завтра. — 2016. — № 8. — С. 6) — **М. С.**

**М. С.:** По вашим словам, Вы стали редактором журнала, чтобы “воскресить для казаков их же жизнь, жизнь их предков”. А как сами казаки относятся к журналу и к Вам?

**В. Л.:** К сожалению, те, кто читает и подписывается, нам почти не известны. Известно только, что там где-то читают и плачут, как говорится. Все остальные казаки ничего не читают. Причём это не я теряю что-то, а они теряют. Если бы я говорил, что они не читают меня, — это одно. Но они не читают своих родичей. Такие были хорошие воспоминания! Даже я, сибиряк, и то не могу равнодушно всё это читать. И они многое потеряли. Атаманы историческому наследию не придали того значения, которое надо было придать. С воспоминаний надо было начать своё возрождение. И тогда бы им открылось всё: какая была жизнь, какие были офицеры, какие были полки, как вели себя люди, как вели себя казаки, как казак, возвращаясь с германского фронта после плена, подъезжая к станции, не знал, что делать. Ему было стыдно, что он был в плену. Как вёл себя офицер в театре. Как вёл себя Бурсак, предводитель дворянства. Возродиться невежественными нельзя. А вы вооружены только декоративным кинжалом.

Не так давно суд в городке Славянск-на-Кубани вынес постановление:

снять мемориальную доску на доме, который 120 лет числится у краеведов как дом семьи генерала В. Г. Науменко. Вернувшиеся из Америки регалии сберёг именно Науменко. Во время войны постарался переправить их из Германии в Америку. Когда умерла его дочь, наши нынешние казаки не выразили соболезнования, не дали телеграмму, ни слова не сказали по телевизору и в кулбанских газетах. Они, мол, предатели. Зачем же забрали регалии, которые “предатели” спасли? Дочь изо всех сил помогала возвращению регалий домой. А в 1996 году, когда крепили памятную доску к дому Науменко в станице Петровской, речь произносил атаман, который в комитете Законодательного собрания края ведёт дела казачества. Почему-то громкого слова не вымолвил.

**М. С.:** Сегодня многие говорят о ненужности Союза писателей России как творческой организации. Что вы думаете по этому поводу?

**В. Л.:** Москвичам, может, он и не нужен. У них есть куда пойти. А мы, когда приезжаем в Москву, прежде всего, идём в наш Союз писателей на Комсомольском проспекте.

**М. С.:** В декабре 2012 года ушёл из жизни Василий Иванович Белов. Вы – лауреат премии им. В. Белова “Всё впереди”. Вы не одно десятилетие знали Василия Ивановича. Как вы оцениваете место Белова в истории русской литературы XX века?

**В. Л.:** Это был человек крестьянского рода, который нёс в себе тысячелетнее русское чувство. Когда он умер, много всего говорилось. Я позвонил Крупину: “Ты чего говоришь-то?” А он в “Русском вестнике” напечатал: с одной стороны, мы горюем, что Белова нет, с другой стороны, мы радуемся: его творчество останется на века. Он имел в виду, конечно, то, что нужно радоваться за всех, кто уходит к Богу. Наверно, это правильно. Это так. Но даже плач вдовы Дмитрия Донского – это такая скорбь! Я думаю, что она веровала в Бога больше, чем Крупин. Тем не менее, так горевала, но не радовалась. Анечка, дочка Василия Ивановича, сказала лучше всех писателей: папа так и не смог уйти из мира деревни. Он там так и остался. Белов повидал Италию, Францию, Москву, Петербург, а весь-весь пребывал в своей деревне, со своими понятиями, любовью, привычками. Он нигде не хотел жить, кроме дома. Он даже Вологдой томился. Вот это тысячелетний русский человек! Вот таким его северная Русь создала, и таким он сберёгся в своем творчестве. Он великий гражданин России, такой, какими были Хомяков, Аксаков, Леонтьев, Розанов, Меньшиков. Василий Белов – патриот этого ряда.

Как он себя сохранил? Мы-то помним, как легко было поддаться (особенно часто посещая Москву и ЦДЛ) влиянию московской интеллигенции, как легко было забыть этих бабушек, эту простоту деревенскую... Ничто на него не подействовало.

Был Шукшин. Его не объяснишь. Зайдёшь к нему в комнату, в которой он жил, приезжая к матери. Господи, это вот так вот я к своей матери приезжал: этот дом, эта изба – всё такое родное, знакомое. И только так познаётся Россия, познаётся наш мир. Познаётся чувство.

**М. С.:** Вы являетесь обладателем многих премий: Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1988) – за роман “Наш маленький Париж”; литературная премия имени М. А. Шолохова; премия “Ясная Поляна” им. Л. Толстого (2003). Какая награда наиболее дорога Вам?

**В. Л.:** С точки зрения жизненной важности, Государственная. А для души – им. Шолохова, им. Толстого, им. Белова, конечно.

**М. С.:** Человек и писатель Виктор Иванович Лихановос может назвать себя счастливым? Что такое, по-Вашему, счастье? Какие свои достижения, человеческие и творческие, Вы цените больше всего?

**В. Л.:** В старости понимаешь, что счастье – это быть с родными рядом. Когда оглянешься: того нет, того нет... Понимаешь, что счастье, когда рядом дороgie тебе люди.

Счастье такая простая мудрость. Мне не хватает тех близких, с кем я жил и думал, что так будет вечно. Частенько, как только тронется поезд, потом протянется верст сто, коснётся Средней России, вспоминаю писателя Евгения Ивановича Носова. В советские времена еду, бывало, через Курск, пишу что-нибудь игривое на открытке, во время стоянки перебегаю пути, бросаю в почтовый ящик – привет Носову. А его нет уже 15 лет. Нет Фёдора Абрамова. Счастье – когда нет потерь. Близкая душа, может, ещё и найдётся. Иногда грустно оттого, что душа эта где-то в Сибири, далеко. Вообще тонкое счастье сопровождается грустью...